

Лев Николаевич

Толстой

Кому у кого учиться писать, крестьянским ребятам у нас, или нам у крестьянских ребят?

Государственное издательство

«Художественная литература»

Москва – 1936

Электронное издание осуществлено

компаниями ABBYY и WEXLER

в рамках краудсорсингового проекта

«Весь Толстой в один клик»

Организаторы проекта:

Государственный музей Л. Н. Толстого

Музей-усадьба «Ясная Поляна»

Компания ABBYY

Подготовлено на основе электронной копии 8-го тома

Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого, предоставленной

Российской государственной библиотекой

Электронное издание

90-томного собрания сочинений Л. Н. Толстого

доступно на портале

www.tolstoy.ru

Предисловие и редакционные пояснения к 8-му тому Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого можно прочитать в настоящем издании

Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, напишите нам

report@tolstoy.ru

Предисловие к электронному изданию

Настоящее издание представляет собой электронную версию 90-томного собрания сочинений Льва Николаевича Толстого, вышедшего в свет в 1928–1958 гг. Это уникальное академическое издание, самое полное собрание наследия Л. Н. Толстого, давно стало библиографической редкостью. В 2006 году музей-усадьба «Ясная Поляна» в сотрудничестве с Российской государственной библиотекой и при поддержке фонда Э. Меллона и координации Британского совета осуществили сканирование всех 90 томов издания. Однако для того чтобы пользоваться всеми преимуществами электронной версии (чтение на современных устройствах, возможность работы с текстом), предстояло еще распознать более 46 000 страниц. Для этого Государственный музей Л. Н. Толстого, музей-усадьба «Ясная Поляна» вместе с партнером – компанией АBBYY, открыли проект «Весь Толстой в один клик». На сайте readingtolstoy.ru к проекту присоединились более трех тысяч волонтеров, которые с помощью программы АBBYY FineReader распознавали текст и исправляли ошибки. Буквально за десять дней прошел первый этап сверки, еще за два месяца – второй. После третьего этапа корректуры тома и отдельные произведения публикуются в электронном виде на сайте tolstoy.ru.

В издании сохраняется орфография и пунктуация печатной версии 90-томного собрания сочинений Л. Н. Толстого.

Руководитель проекта «Весь Толстой в один клик»

Фекла Толстая

Перепечатка разрешается безвозмездно

Reproduction libre pour tous les pays.

Л. Н. ТОЛСТОЙ

1860 г.

С фотографии J. Géruzet Bruxelles

КОМУ У КОГО УЧИТЬСЯ ПИСАТЬ, КРЕСТЬЯНСКИМ РЕБЯТАМ У НАС, ИЛИ НАМ У
КРЕСТЬЯНСКИХ РЕБЯТ?

В 5-й книжке «Ясной поляны», в отделе детских сочинений, напечатана по ошибке редакции «История о том, как мальчика напугали в Туле». Историйка эта сочинена не мальчиком, но составлена учителем из виденного им и рассказанного мальчиком сна. Некоторые из читателей, следящие за книжками «Ясной поляны», выразили сомнение в том, что действительно ли повесть эта принадлежит ученику. Я спешу извиниться перед читателями в этой неосмотрительности и при этом случае заметить, как невозможны подделки в этом роде. Повесть эта узнана не потому, что она лучше, а потому, что она хуже, несравненно хуже всех детских сочинений. Все остальные повести принадлежат самим детям. Две из них: «Ложкой кормит, а стеблем глаз колет» и «Солдаткино житье», печатаемое в этой книжке, составились следующим образом.

Главное искусство учителя при изучении языка и главное упражнение с этою целью в руководстве детей к сочинениям состоит в задавании тем, и не столько в задавании, сколько в предоставлении большего выбора, в указании размера сочинения, в показании первоначальных приемов. Многие умные и талантливые ученики писали пустяки, писали: «пожар загорелся, стали таскать, а я вышел на улицу», — и ничего не выходило, несмотря на то, что сюжет сочинения был богатый и что описываемое оставило глубокое впечатление на ребенке. Они не понимали главного: зачем писать, и что хорошего в том, чтоб написать? Не понимали искусства — красоты выражения жизни в слове и увлекательности этого искусства. Я, как уже писал во 2-м №, пробовал

много различных приемов задавания сочинений. Я задавал, смотря по наклонностям, точные, художественные, трогательные, смешные, эпические темы сочинений, – дело не шло. Вот как я нечаянно попал на настоящий прием.

Давно уже чтение сборника пословиц Снегирева составляет для меня одно из любимых – не занятий, но наслаждений. На каждую пословицу мне представляются лица из народа и их столкновения в смысле пословицы. В числе неосуществимых мечтаний, мне всегда представлялся ряд не то повестей, не то картин, написанных на пословицы. Один раз, прошлой зимой, я зачитался после обеда книгой Снегирева и с книгой же пришел в школу. Был класс русского языка.

– Ну-ка, напишите кто на пословицу, – сказал я.

Лучшие ученики – Федька, Сёмка и другие наострили уши.

– Как на пословицу, что такое? скажите нам? – посыпались вопросы.

Открылась пословица: ложкой кормит, стеблем глаз колет.

– Вот, вообрази себе, сказал я: – что мужик взял к себе какого-нибудь нищего, а потом, за свое добро, его попрекать стал, – и выйдет к тому, что «ложкой кормит, стеблем глаз колет».

– Да ее как напишешь? – сказал Федька, и все другие, наострившие было уши, вдруг отшатнулись, убедившись, что это дело не по их силам, и принялись за свои, прежде начатые, работы.

– Ты сам напиши, – сказал мне кто-то.

Все были заняты делом; я взял перо и чернилицу и стал писать.

– Ну, сказал я: – кто лучше напишет, – и я с вами.

Я начал повесть, напечатанную в 4-й книжке «Ясной поляны», и написал первую страницу. Всякий непредубежденный человек, имеющий чувство художественности и народности, прочтя эту первую, писанную мною, и следующие страницы повести, писанные самими учениками, отличит эту страницу от других, как муху в молоке: так она фальшива, искусственна и написана таким плохим языком. Надо заметить еще, что в первоначальном виде она была еще уродливее и много исправлена, благодаря указанию учеников.

Федька из-за своей тетрадки всё поглядывал на меня и, встретившись со мной глазами, улыбаясь, подмигивал и говорил: «пиши, пиши, я те задам». Его, видимо, занимало, как большой тоже сочиняет. Кончив свое сочинение хуже и скорее обыкновенного, он влез на спинку моего кресла и стал читать из-за плеча. Я не мог уже продолжать; другие подошли к нам, и я прочел им вслух написанное. Им не понравилось, никто не похвалил. Мне было совестно и, чтоб успокоить свое литературное самолюбие, я стал рассказывать им свой план последующего. По мере того, как я рассказывал, я увлекался, поправлялся, и они стали подсказывать мне: кто говорил, что старик

этот будет колдун; кто говорил: нет, не надо, – он будет просто солдат; нет, лучше пускай он их обокрадет; нет, это будет не к пословице и т. п., говорили они.

Все были чрезвычайно заинтересованы. Для них, видимо, было ново и увлекательно присутствовать при процессе сочинительства и участвовать в нем. Суждения их были, большею частью, одинаковы и верны как в самой постройке повести, так и в самых подробностях и в характеристиках лиц. Все почти принимали участие в сочинительстве; но, с самого начала, в особенности резко выделились положительный Сёмка резкой художественностью описания и Фёдка – верностью поэтических представлений и в особенности пылкостью и поспешностью воображения. Требования их были до такой степени неслучайны и определены, что не раз я начинал с ними спорить и должен был уступать. У меня крепко сидели в голове требования правильности постройки и верности отношения мысли пословицы к повести; у них, напротив, были только требования художественной правды. Я хотел, например, чтобы мужик, взявший в дом старика, сам бы раскаялся в своем добром деле, – они считали это невозможным и создали сварливую бабу. Я говорил: мужику стало сначала жалко старика, а потом хлеба жалко стало. Фёдка отвечал, что это будет нескладно: «он с первого начала бабы не послушался и после уже не покорится». – Да какой он по-твоему человек? – спросил я. «Он как дядя Тимофей, – сказал Фёдка улыбаясь: – так, бородка реденькая, в церковь ходит, и пчелы у него есть». – Добрый, но упрямый? – сказал я. «Да, – сказал Фёдка: – уж он не станет бабы слушать». С того места, как старика внесли в избу, началась одушевленная работа. Тут, очевидно, они в первый раз почувствовали прелесть запечатления словом художественной подробности. В этом отношении в особенности отличался Сёмка: подробности самые верные сыпались одна за другою. Единственный упрек, который можно было ему сделать, был тот, что подробности эти обрисовывали только минуту настоящего, без связи к общему чувству повести. Я не успевал записывать и только просил их подождать и не забывать сказанного. Сёмка, казалось, видел и описывал находящееся перед его глазами: закопченные, замерзлые лапти и грязь, которая стекла с них, когда они растаяли, и сухари, в которые они превратились, когда баба бросила их в печку; Фёдка, напротив, видел только те подробности, которые вызывали в нем то чувство, с которым он смотрел на известное лицо, Фёдка видел снег, засыпавшийся старику за онучи, чувство сожаления, с которым мужик сказал: Господи, как он шол! (Фёдка даже в лицах представил, как это сказал мужик, размахнувши руками и покачавши головою.) Он видел из лоскутьев собранную шинелишку и прорванную рубашку, из-под которой виднелось худое, смоченное растаявшим снегом, тело старика; он придумал бабу, которая ворчливо, по приказанию мужа, сняла с него лапти, и жалобный стон старика, сквозь зубы говорящего: тише, матушка, у меня тут раны. Сёмке нужны были преимущественно объективные образы: лапти, шинелишка, старик, баба, почти без связи между собою; Фёдке нужно было вызвать чувство жалости, которым он сам был проникнут.

Он забегал вперед, говорил о том, как будут кормить старика, как он упадет ночью, как потом будет в поле учить грамоте мальчика, так что я должен был просить его не торопиться и не забывать того, что он

сказал. Глаза у него блеснули почти слезами; черные, худенькие ручонки судорожно корчились; он сердился на меня и беспрестанно понукал: написал, написал?— всё спрашивал он меня. Он деспотически-сердито обращался со всеми другими, ему хотелось говорить только одному, — и не говорить как рассказывают, а говорить как пишут, т. е. художественно запечатлеть словом образы чувства; он не позволял, например, перестанавливать слов, скажет: у меня на ногах раны, то уж не позволяет сказать: у меня раны на ногах. Размягченная и раздраженная его, в это время, душа чувством жалости, т. е. любви облекала всякий образ в художественную форму и отрицала всё, что не соответствовало идее вечной красоты и гармонии. Как только Сёмка увлекался высказыванием непропорциональных подробностей о ягнятах в коннике и т. п., Федька сердился и говорил: ну тебя, уж наладил! Стоило мне только намекнуть о том, например, что делал мужик, как жена убежала к куму, и в воображении Федьки тотчас же возникала картина с ягнятами, бякающими в коннике, со вздохами старика и бредом мальчика Сережки; стоило мне только намекнуть на картину искусственную и ложную, как он тотчас же сердито говорил, что этого не надо. Я предложил, например, описать наружность мужика, — он не согласился; но на предложение описать то, что думал мужик, когда жена бегала к куму, ему тотчас же представился оборот мысли: «эх, напалась бы ты на Савоську покойника, тот бы те космы-то повыдергал!» И он сказал это таким усталым и спокойно привычно-серьезным и вместе добродушным тоном, облокотив голову на руку, что ребята покатались со смеху. Главное свойство во всяком искусстве — чувство меры — было развито в нем необычайно. Его коробило от всякой лишней черты, подсказываемой кем-нибудь из мальчиков. Он так деспотически, и с правом на этот деспотизм, распорядился постройкою повести, что скоро мальчики ушли домой и остался только он с Сёмкою, который не уступал ему, хотя и работал в другом роде.

Мы работали с 7 до 11 часов; они не чувствовали ни голода, ни усталости, и еще рассердились на меня, когда я перестал писать; взялись сами писать попеременно, но скоро бросили; дело не пошло. Тут только Федька спросил у меня, как меня звать? Мы засмеялись, что он не знает. «Я знаю, — сказал он, — как вас звать, да двор-то ваш как зовут? Вот у нас Фоканычевы, Зябревы, Ермилины». Я сказал ему. «А печатывать будем?» спросил он. — Да! — «Так и печатывать надо: сочинение Макарова, Морозова и Толстова». Он долго был в волнении и не мог заснуть, и я не могу передать того чувства волнения, радости, страха, и почти раскаяния, которые я испытывал в продолжение этого вечера. Я чувствовал, что с этого дня для него раскрылся новый мир наслаждений и страданий, — мир искусства; мне казалось, что я подсмотрел то, что никто никогда не имеет права видеть — зарождение таинственного цветка поэзии. Мне и страшно, и радостно было, как искателю клада, который бы увидел цвет папоротника: радостно мне было потому, что вдруг, совершенно неожиданно, открылся мне тот философский камень, которого я тщетно искал два года — искусство учить выражению мыслей; страшно потому, что это искусство вызвало новые требования, целый мир желаний, несоответственный среде, в которой жили ученики, как мне казалось в первую минуту. Ошибиться нельзя было. Это была не случайность, но сознательное творчество. Я прошу читателя прочесть первую главу повести и заметить то богатство рассыпанных в ней черт истинного творческого таланта; например,

черта, что баба со злобой жалуется куму на мужа, и, несмотря на то, эта баба, к которой автор имеет явное несочувствие, плачет, когда кум напоминает ей о разорении дома. Для сочинителя, пишущего одним умом и воспоминанием, сварливая баба представляет только противоположность мужика: она, из одного желания досадить мужу, должна бы была приглашать кума; но у Федьки художественное чувство захватывает и бабу, – и она тоже плачет, боится и страдает, она, в его глазах, не виновата. Вслед затем побочная черта, что кум надел бабью шубенку, я помню, до такой степени поразила меня, что я спросил: почему же именно бабью шубенку? Никто из нас не наводил Федьку на мысль о том, чтобы сказать что кум надел на себя шубу. Он сказал: «так, похоже». Когда я спросил: можно ли было сказать, что он надел мужскую шубу? – он сказал: «нет, лучше бабью». И в самом деле, черта эта необыкновенна. Сразу не догадаешься, почему именно бабью шубенку, – а вместе с тем чувствуешь, что это превосходно и что иначе быть не может. Каждое художественное слово, принадлежит ли оно Гёте или Федьке, тем-то и отличается от нехудожественного, что вызывает бесчисленное множество мыслей, представлений и объяснений. Кум, в бабьей шубенке, невольно представляется вам тщедушным, узкогрудым мужиком, каков он, очевидно, и должен быть. Бабья шубенка, валявшаяся на лавке и первая попавшаяся ему под руку, представляет вам еще и весь зимний и вечерний быт мужика. Вам невольно представляются, по случаю шубенки, и позднее время, во время которого мужик сидит при лучине, раздевшись, и бабы, которые входили и выходили за водой и убирать скотину, и вся эта внешняя безурядица крестьянского житья, где ни один человек не имеет ясно определенной одежды и ни одна вещь своего определенного места. Одним этим словом: «надел бабью шубенку» отпечатан весь характер среды, в которой происходит действие, и слово это сказано не случайно, а сознательно. Помню я еще живо, как возникли в его воображении слова, сказанные мужиком при том, как он нашел бумагу и не мог прочесть ее: – «Вот знал бы мой Сережа грамоте, он бы живо подскочил, вырвал бы из моих рук бумагу, всё бы прочел и рассказал бы мне, кто такой этот старик есть». Так и видится это отношение рабочего человека к книге, которую он держит в своих загорелых руках; весь этот добрый человек с патриархальными, набожными наклонностями так и восстает перед вами. Вы чувствуете, что автор глубоко полюбил и потому понял всего его для того, чтобы вложить ему вслед за этим отступление о том; что нынче какие времена пришли – того и гляди, ни за что душу загубят. Мысль сна подана была мною, но сделать козла с ранами на ногах была Федькина мысль, и он в особенности обрадовался ей. А размышление мужика в то время, как у него засвербела спина, а картина тишины ночи, – всё это до такой степени не случайно, во всех этих чертах чувствуется такая сознательная сила художника!.. Помню я еще, что во время засыпания мужика я предложил заставить думать его о будущем сына и о будущих отношениях сына с стариком, что старик выучит Сережку грамоте и т.д. Федька поморщился, сказал: «да, да, хорошо,» – но видно было, что предложение это ему не нравилось, и он два раза забывал его. Чувство меры было в нем так сильно, как ни у одного из известных мне писателей, – то самое чувство меры, которое огромным трудом и изучением приобретают редкие художники, – во всей его первобытной силе жило в его неиспорченной детской душе.

Я оставил урок, потому что был слишком взволнован.

«Что с вами, отчего вы так бледны, вы верно нездоровы?» – спросил меня мой товарищ. Действительно, я два–три раза в жизни испытывал столь сильное впечатление, как в этот вечер, и долго не мог дать себе отчета в том, что я испытывал. Мне смутно казалось, что я преступно подсмотрел в стеклянный улей работу пчел, закрытую для взора смертного; мне казалось, что я развратил чистую, первобытную душу крестьянского ребенка. Я смутно чувствовал в себе раскаяние в каком–то святотатстве. Мне вспоминались дети, которых праздные и развратные старики заставляют ломаться и представлять сладострастные картины для разжигания своего усталого, истасканного воображения, и вместе с тем мне было радостно, как радостно должно быть человеку, увидавшему то, чего никто не видал прежде его.

Я долго не мог дать себе отчета в том впечатлении, которое я испытал, хотя и чувствовал, что это впечатление было из тех, которые в зрелых годах воспитывают, возводят на новую ступень жизни и заставляют отречься от старого и вполне предаваться новому. На другой день я еще не верил тому, что испытал вчера. Мне казалось столь странным, что крестьянский, полуграмотный мальчик вдруг проявляет такую сознательную силу художника, какой, на всей своей необъятной высоте развития, не может достичь Гёте. Мне казалось столь странным и оскорбительным, что я, автор «Детства», заслуживший некоторый успех и признание художественного таланта от русской образованной публики, что я, в деле художества, не только не могу указать или помочь 11–летнему Сёмке и Федьке, а что едва–едва, – и то только в счастливую минуту раздражения, – в состоянии следить за ними и понимать их. Мне это казалось так странным, что я не верил тому, что было вчера.

На другой день вечером мы принялись за продолжение повести. Когда я спросил у Федьки, обдумал ли он продолжение и как? – он, не отвечая, замахал руками и сказал только: «ужь знаю, знаю! Кто писать будет?» Мы стали продолжать, и опять со стороны ребят то же чувство художественной правды, меры и увлечения.

В половине урока я был принужден оставить их. Они продолжали без меня и написали две страницы так же хорошо, прочувствованно и верно, как и первые. Страницы эти были только несколько беднее подробностями, и подробности эти были иногда не совсем ловко расположены, были раза два и повторения. Всё это, очевидно, происходило оттого, что механизм писанья затруднял их. На третий день было то же самое. Во время этих уроков, часто приставали другие мальчики и, зная тон и содержание повести, часто подсказывали и прибавляли свои верные черты. Сёмка отставал и приставал. Один Федька от начала и до конца вел повесть и цензировал все предлагаемые изменения. Не могло ужь быть сомнения и мысли, что успех этот есть дело случая: нам, очевидно, удалось попасть на тот прием, который был естественнее и возбуждательнее всех прежних. Но всё это было слишком необыкновенно, и я не верил тому, что совершалось перед глазами. Как будто надобно было еще особенному случаю уничтожить все мои сомнения. Я должен был уехать на несколько дней, и повесть оставалась не дописанною. Рукопись, три большие листа, кругом исписанные, оставалась в комнате учителя, которому я

показывал ее. Еще перед моим отъездом, во время моего сочинительства, прибывший новый ученик показал нашим ребятам искусство делать хлопушки из бумаги, и на всю школу, как это обыкновенно бывает, нашол период хлопушек, заменивший период снежков, заменивший, в свою очередь, период вырезывания палочек. Период хлопушек продолжался во время моего отсутствия. Сёмка и Федька, состоящие в числе певчих, приходили в комнату учителя спеваться и проводили здесь целые вечера, а иногда и ночи. Между и во время пения, разумеется, хлопушки делали свое дело, и всевозможные бумаги, попадавшие в руки, превращались в хлопушки. Учитель ушел ужинать, забывши сказать, что бумаги на столе нужные, и рукопись сочинения Макарова, Морозова и Толстова превратилась в хлопушки. На другой день, перед уроком, хлопанье до такой степени надоело самим ученикам, что последовало всеобщее гонение на хлопушки от них же самих: с криком и визгом хлопушки все были отобраны и с торжеством всунуты в топившуюся печку. Период хлопушек кончился, но с ним погибла и наша рукопись. Никогда никакая потеря не была для меня так тяжела, как потеря этих трех исписанных листов; я был в отчаянии. Махнув на всё рукою, я хотел начинать новую повесть, но не мог забыть потери и невольно всякую минуту пилил упреками и учителя, и делателей хлопушек. (Не могу не заметить при этом случае, что только вследствие внешнего беспорядка и полной свободы учеников, над которою так мило подтрунивают гг. Марков в «Русском вестнике» и Глебов в журнале «Воспитание» № 4, я без малейшего труда, угроз или хитростей узнал все подробности сложной истории превращения рукописи в хлопушки и сожжения их.) Сёмка и Федька видели, что я огорчен, видимо не понимали чем, хотя и соболезнавали. Федька робко предложил мне, наконец, что они вновь напишут такую же. – «Одни? – сказал я, – я ужь помогать не стану». – «Мы с Сёмкой ночевать останемся», – сказал Федька. И действительно, после урока они пришли в 9 часу в дом, заперлись на ключ в кабинете, что мне доставляло не мало удовольствия, посмеялись, затихли, и до 12-го часа, подходя к двери, я слышал только, как они тихим голосом переговаривались между собою и скрипели пером. Один раз только они заспорили о том, что было прежде, и пришли ко мне судиться: прежде ли он искал сумочку, чем баба пошла к куму, – или после. Я сказал им, что это всё равно. В 12 часу я к ним постучался и вошел. Федька, в новой белой шубке с черною опушкой, сидел глубоко в кресле, перекинув ногу на ногу и облокотившись своею волосатой головкой на руку и играя ножницами в другой руке. Большие, черные глаза его, блестя неестественным, но серьезным, взрослым блеском, всматривались куда-то вдаль; неправильные губы, сложенные так, как будто он сбирался свистать, видимо сдерживали слово, которое он, отчеканенное в воображении, хотел высказать. Сёмка, стоя перед большим письменным столом, с большой белой заплаткой овчины на спине (в деревне только что были портные), с распущенным кушаком, с лахмаченной головой, писал кривые линейки, беспрестанно тыкая пером в чернилицу. Я взбудоражил волоса Сёмке, и толстое скуластое лицо его с спутанными волосами, когда он недоумевающими и заспанными глазами с испуга оглянулся на меня, было так смешно, что я захохотал, но дети не рассмеялись. Федька, не изменяя выражения лица, тронул за рукав Сёмку, чтоб он продолжал писать: «погоди, – сказал он мне, – сейчас» (Федька говорит мне «ты» тогда, когда бывает увлечен и взволнован), и он продиктовал еще что-то. Я отнял у них тетрадь, и через пять минут, когда они, усевшись

около шкафчика, оплетали картофель с квасом и, глядя на чудные для них серебряные ложки, заливались сами не зная чему, звонким детским смехом; старушка, слушая их сверху, не зная чему, тоже смеялась. «Ты что завалился? – говорил Сёмка: – сиди прямо, а то набок наешься». И, снимая шубы и укладываясь под письменным столом спать, они не переставали заливаться детским, мужицким, здоровым, прелестным хохотом. Я прочел то, что они написали. Это был новый вариант того же. Некоторые вещи были пропущены, некоторые новые, художественные красоты прибавлены. И опять то же чувство красоты, правды и меры. Впоследствии найден был один лист из потерянной рукописи. В напечатанной повести я, вспоминая по найденному листу, соединил оба варианта. Писание этой повести происходило раннею весной, перед окончанием нашего учебного года. Я, по некоторым обстоятельствам, не мог успеть делать новых опытов. На пословицы написана была двумя самыми посредственными по способностям и самыми испорченными (потому что дворовые) мальчиками только одна повесть: «Кто празднику рад, тот до свету пьян», напечатанная в 3 номере. Те же явления повторялись и с этими мальчиками, и с этою повестью, как и с Сёмкой и Федькой и первою повестью, только с различием степени таланта и степени увлечения и содействия с моей стороны.

Летом у нас не учатся, не учились и не будут учиться. Причине, почему учение летом невозможно в нашей школе, мы посвятим отдельную статью.

Одну часть лета Федька и другие мальчики жили со мною. Накупавшись, наигравшись, они вздумали позаняться. Я предложил им писать сочинение и рассказал несколько тем. Я рассказал весьма занимательную историю воровства денег, историю одного убийства, историю чудесного обращения молокана в православие и еще, в форме автобиографии, предложил написать историю мальчика, у которого бедного и распутного отца отдали в солдаты и к которому отец возвращается из солдатства исправленным и хорошим человеком. Я сказал: «я бы написал так. Помню я, когда я был маленьким, что у меня были мать, отец и еще какие-нибудь родные, и какие они были. Потом написал бы, как помню, что отец мой гулял, мать всё плакала, и он ее бил; потом, как отдали его в солдаты, как она выла, как мы еще хуже жить стали, как отец пришел назад, и я будто бы его не узнал, а он спрашивает, жива ли там Матрена, – это про свою жену, – и как потом обрадовались и хорошо стали жить». Вот всё, что я сказал сначала. Федьке чрезвычайно понравилась эта тема. Он сейчас же схватил перо, бумагу и стал писать. Во время писания я навел его только на мысль о сестре и на мысль о смерти матери. Остальное всё он писал сам и даже не показывал мне, кроме первой главы, до тех пор, пока всё было кончено. Когда он показал мне 1-ю главу и я начал ее читать, я чувствовал, что он находится в сильном волнении и, сдерживая дыхание, смотрит то на рукопись, следя за моим чтением, то на мое лицо, желая угадать на нем выражение одобрения или неодобрения. Когда я ему сказал, что это очень хорошо, – он весь вспыхнул, но ничего не сказал мне и раздраженно тихим шагом дошел с тетрадью до столика, уложил ее и медленно вышел на двор. На дворе он был бешено резв с ребятами в этот день и, когда глаза наши встречались, смотрел на меня такими благодарными, ласковыми глазами. Через день он уже забыл о том, что написал. Я только придумал

заглавие, разделил на главы и кое-где поправил ошибки, сделанные им только по неосмотрительности. Эта повесть в своем первоначальном виде печатается в книжке под заглавием «Солдаткино житье».

Я не говорю о первой главе, хотя и в ней есть свои неподражаемые красоты, и хотя беспечный Гордей в ней представляется чрезвычайно верно и живо, – Гордей, который как будто стыдится признаться в своем раскаянии и считает приличным только попросить сходку о сыне, – несмотря на это, глава эта несравненно слабее всех последующих. И виноват в этом один я, который не мог удержаться при писании этой главы, не мог удержаться, чтобы не подсказывать ему и не рассказывать, как бы написал я. Ежели есть некоторая пошлость приема при вступлении, в описании лиц и жилища, то виноват в этом единственно я. Ежели б я его оставил одного, то, я уверен, он описал бы то же самое во время действия незаметно, художественнее, без принятой у нас и ставшей невозможной манеры описаний, логично расположенных: сначала описания действующих лиц, даже их биографии, потом описание местности и среды, и потом уже начинается действие. И странное дело, – все эти описания, иногда на десятках страниц, меньше знакомят читателя с лицами, чем небрежно брошенная художественная черта во время уже начатого действия между вовсе неописанными лицами. Так в этой первой главе одно слово Гордея: «мне того и нужно», когда он, махнув рукой, примиряется с своею долей быть солдатом и только просит сходку не оставить его сына, – это слово более знакомит читателя с лицом, чем несколько раз повторенное и навязанное мною описание его одежды, фигуры и привычки ходить в кабак. Точно то же впечатление производит и слово старухи, всегда бранившей сына, когда она во время горя говорит с завистью невестке: «будет тебе, Матрена! Что же делать, – видно так Богу угодно! Ведь ты еще молода, может, Бог тебе приведет и увидать. А мои какие лета... я всё больна... того и гляди – умру».

Во 2-й главе еще заметно мое влияние пошлости и испорченности, но опять глубоко художественные черты в описании картин и смерти мальчика выкупают всё дело. Я подсказал, что у мальчика были тоненькие ножки, я подсказал сентиментальную подробность о дяде Нефеде, который делает гробок; но жалобы матери, выраженные одним словом: «Господи, когда эта кабала умрет!» – представляют читателю всю сущность положения; и вслед затем эта ночь, во время которой старший братишка разбужен слезами матери, и ответ ее на вопрос бабушки: что с нею? – простым словом: «у меня сын помер», – и эта бабушка, встающая и зажигающая огонь и обмывающая маленькое тело, – всё это его собственное; всё это так сжато, так просто и так сильно – ни одного слова нельзя выкинуть, ни одного изменить или прибавить. Всего пять строк, и в этих-то пяти строках нарисована для читателя вся картина этой грустной ночи, и картина, отражавшаяся в воображении 6–7 летнего мальчика. «В полночь мать что-то заплакала. Встала бабушка и говорит: что ты, Христос с тобою? Мать говорит: у меня сын помер. Бабушка зажгла огонь, обмыла мальчика, надела рубашку, подпоясала и положила под святые. Когда рассвело...» Вам видится и самый мальчик, разбуженный знакомым плачем матери, с просонков из-под кафтана, где-нибудь на палатах, испуганными блестящими глазами следящий за тем, что делается в избе; вам видится и эта изнуренная страдальца-солдатка, за день пред этим говорившая:

«скоро ли эта кабала умрет», раскаивающаяся и убитая мыслью о смерти этой кабалы до такой степени, что она только говорит: «у меня сын помер», не знает, что ей делать, и зовет на помощь старуху; вам видится и эта усталая от страдания жизни старуха, сгорбленная, худая и с костлявыми членами, которая привычными рабочими руками неторопливо, спокойно берется за дело: зажигает лучину, приносит воды и обмывает мальчика, кладет всё в свое место и обмытого, подпоясанного мальчика под святые. И видятся вам эти святые, вся эта ночь без сна до рассвета, как будто вы сами ее пережили, как пережил ее мальчик, глядевший из-под кафтана; со всеми подробностями возникает эта ночь и остается в вашем воображении.

В 3-й главе уже меньше моего влияния. Вся личность няньки принадлежит ему. Еще в 1-й главе, он одною чертой охарактеризовал отношения няньки к семейству: «она работала в свою долю на наряды, замуж собиралась». И одна эта черта рисует уже всю девку, не могущую принимать и действительно не принимающую участия в радостях и горестях семейства. У ней свой законный интерес, своя единственная цель, поставленная ей Провидением, – будущее замужество, своя будущая семья. Наш брат сочинитель, в особенности такой, который желает поучать народ, представляя ему примеры нравственности, достойные подражания, непременно отнесся бы к няньке с вопросом о ее участии в общей нужде и горе семейства. Он сделал бы ее или постыдным примером равнодушия, или образцом любви и самопожертвования, и была бы мысль, а не было бы живого лица няньки. Только человек, глубоко изучивший и узнавший жизнь, мог бы понять, что для няньки вопрос о горе семейства и солдатстве отца есть законно второстепенный вопрос: у нее есть замужество. И это самое в простоте своей души увидит художник, хотя и ребенок. Ежели бы мы описали няньку самой трогательной, самоотверженной девицей, мы бы ее вовсе не могли себе представить и не любили бы, как теперь ее любим. Теперь же мне так мила и жива эта толстощекая, румяная девочка, бегущая вечерком на хороводы в купленных на заработанные деньги котках и кумачном платке, любящая свою семью, хотя и тяготящаяся той бедностью и мрачностью, которая составляет такую противоположность ее душевному настроению. Я чувствую, что она добрая девочка, уже потому, что мать никогда на нее не жаловалась и не имела от нее горя. Я, напротив, чувствую, что она одна с своими заботами о нарядах, отрывками напеваемых песен и рассказами о деревенских сплетнях, принесенными с летней работы или с зимней улицы, в грустное время одиночества солдатки служила представительницей веселья, молодости и надежды. Недаром он говорит, что только и было радости, как няньку замуж отдавали; недаром с такой любовью и подробностью описывает веселье свадьбы; недаром после свадьбы заставляет мать сказать: «теперь мы разорились до конца». Видно, что, отдав няньку, они потеряли ту радость и веселье, которые она вносила в их дом. Всё это описание свадьбы необыкновенно хорошо. Тут есть подробности, перед которыми невольно приходишь в недоумение и, вспоминая, что это писал 11-ти летний мальчик, спрашиваешь себя – неужели это не нечаянно? Так и видишь из-за этого сжатого и сильного описания 7-летнего мальчика, не выше стола, с умными и внимательными глазками, на которого никто не обращает внимания, но который всё помнит и замечает. Когда ему захотелось хлебца, например, он не сказал, что попросил у матери, а сказал, что нагнул мать. И это

сказано не нечаянно, а сказано потому, что помнится ему отношение в то время роста его к матери и помнятся его, робкие при других и близкие один на один, отношения к матери. Другое из множества наблюдений, которые он мог сделать во время обряда свадьбы, он запомнил и записал именно то, которое для него и для каждого из нас рисует весь характер этих обрядов. Когда сказали, что горько, нянька взяла Кондрашку за уши и стали целоваться. Потом смерть бабушки, воспоминание ее о сыне перед смертью и особенный характер горести матери, – всё это так твердо и сжато, и всё это его собственное.

О возвращении отца я более всего ему говорил, когда задавал тему повести. Мне нравилась эта сцена, и я сентиментально–пошло рассказал, но именно сцена эта ему тоже очень понравилась, и он просил меня: «ничего не говорите, я сам знаю, знаю», – говорил он мне и начал писать, и с этого же места дописал всю повесть в один присест. Мне очень интересно будет знать мнение других ценителей, но я считаю долгом откровенно высказать свое мнение. Ничего подобного этим страницам я не встречал в русской литературе. Во всей этой встрече нет ни одного намека на то, что это было трогательно, рассказано только, как было дело; но рассказано, изо всего что было, именно только то, что необходимо для того, чтобы читатель понял положение всех лиц. Солдат в своем доме сказал только три слова. Сначала он еще крепился и сказал: «здравствуйте». Когда он начал забывать взятую на себя роль, он сказал: «чтойто у вас семьи только?» И всё было высказано словами: «где жь моя матушка?» Какие всё простые и естественные слова, и никто из лиц не забыт! Мальчик был рад и поплакал даже; но он ребенок и потому он тут же, несмотря на то, что отец плакал, всё рассматривал у него сумочку и в карманах. Не забыта и нянька. Так и видишь эту румяную бабенку, которая в котах при народе застенчиво вошла в избу и, ничего не сказавши, поцаловала отца. Так и видишь растерявшегося и счастливого солдата, который под ряд целуется со всеми, сам не зная с кем, и который, узнав, что молодая бабенка его дочь, вновь подзывает ее к себе и целует уже не просто как всякую молодую бабочку, а целует как дочь, которую он оставил когда–то, как будто не жалея.

Отец исправился. Сколько бы мы наговорили фальшивых и неловких фраз по этому случаю. А Федька просто рассказал, как нянька принесла вино, а он не стал пить. И вы видите и бабу, которая, достав из сумочки последние 23 к., запыхавшись, в сенях топотом посылала молодую бабенку за вином и пересыпала ей в горсть медные деньги. Вы видите эту молодую бабенку, которая, подобрав на руку занавеску, с полуштофом в руке, постукивая котами и размахивая за спиной локтями, с полуштофом в руке бежала к кабаку. Вы видите, как она, зардевшись, вошла в избу, достала из–под занавески полуштоф, как мать самодовольно и весело поставила его на стол, и как солдатке и обидно, и весело стало, что муж ее не стал пить. И видите – ежели он не стал пить в такую минуту, то он ужь точно исправился. Вы чувствуете, как совсем другие люди стали все члены семейства. «Отец мой помолился Богу и сел за стол. Я сел возле него рядом; нянька села на коннике, а мать стояла у стола и глядела на отца и говорит: вишь ты помолодел, – у тебе борода нет. Все засмеялись».

И только когда все ушли, начались настоящие семейные разговоры. Тут

только открывается, что солдат разбогател и разбогател самым простым и естественным образом, точно так же, как богатеют почти все люди на свете, т. е. чужие, казенные, общие деньги, вследствие счастливой случайности, остались у него. Некоторые из читателей повести замечали в ней, что подробность эта безнравственна, и что понятие казны, как дойной коровы, надо искоренять, а не утверждать в народе. Для меня же черта эта, не говоря уже о ее художественной правде, в особенности дорога. Ведь казенные деньги всегда остаются, — отчего же и не остаться им когда-нибудь и у бездомного солдата Гордея! Во взгляде на честность народа и высшего класса часто встречается совершенная противоположность. Требования народа в особенности серьезны и строги в отношении честности в самых близких отношениях, например, в отношении к семье, к деревне, к миру. В отношении к посторонним — с публикой, с государством, в особенности с иностранцем, с казною, для них смутно представляется приложимость общих правил честности. Мужик, который никогда не солжет своему брату, перенесет всевозможные лишения для своей семьи, который лишней и незаслуженной копейки не возьмет у своего односельца или соседа, тот же мужик обдерет, как липку, иностранца или горожанина, на каждом слове солжет дворянину или чиновнику; будь он солдатом — без малейшего угрызения совести, заколет пленного француза и, попадись ему казенные деньги, сочтет преступлением в отношении своей семьи не воспользоваться ими. В высшем классе бывает, напротив, совершенно противное. Наш брат скорее обманет жену, брата, купца, с которым десятки лет имеет дело, своих дворовых, крестьян, соседа, и тот же самый человек за границей снедаем постоянным страхом, как бы нечаянно не обмануть кого, и всё просит указать ему — кому еще нужно отдать деньги. Тот же наш брат обдерет на шампанское и перчатки свою роту и полк и будет рассыпаться в любезностях перед пленным французом. Тот же самый человек, в отношении казны, считает величайшим преступлением воспользоваться, когда он без денег (считает только), но большей частью при случае не устоит в борьбе и сделает то, что сам считает подлостью. Я не говорю, что лучше, я говорю только, как, мне кажется, оно есть. Замечу только, что честность не есть убеждение, что выражение: «честные убеждения» есть бессмыслица. Честность есть нравственная привычка; чтобы приобрести ее, нельзя идти иным путем, как начинать с ближайших отношений. Выражение: «честные убеждения», по моему, совершенно бессмысленно: есть честные привычки, а нет честных убеждений.

Слова «честные убеждения» только фраза; вследствие того-то эти мнимые честные убеждения, относящиеся до самых отдаленных жизненных условий — казны, государства, Европы, человечества — и не основанные на привычках честности, не воспитанные на самых ближайших житейских отношениях, оттого то эти честные убеждения или, вернее, фразы честности оказываются несостоятельными в отношении к жизни.

Возвращаюсь к повести. Кажущееся в первую минуту безнравственным появление взятых у казны денег, по нашему мнению, напротив, имеет самый милый, трогательный характер. Как часто литератор нашего круга, в простоте своей души, желая выставить героя своего идеалом честности, показывает нам всю грязную и развратную внутренность своего воображения. Здесь, наоборот, автору нужно осчастливить своего героя; для счастья ему и достаточно было бы возвращения в

семью, но надо было уничтожить бедность, столько лет тяготевшую над семьей; откуда жь ему было взять богатство? Из безличной казны. Ежели дать богатство, то надо у кого-нибудь взять его, – законнее, разумнее нельзя было найти его.

В самой сцене объявления этих денег есть крошечная подробность, одно слово, которое всякий раз, когда я читаю, как будто вновь поражает меня. Оно освещает всю картину, обрисовывает все лица и их отношения и только одно слово, и слово, неправильно употребленное, синтаксически неверное, – это слово заторопилась. Учитель синтаксиса должен сказать, что это неправильно. Заторопилась требует дополнительного – заторопилась что сделать? должен спросить учитель. А тут просто сказано: – Мать взяла деньги и заторопилась, понесла их хоронить, – и это прелестно. Желал бы я сказать такое слово и желал бы, чтобы учителя, обучающие языку, сказали или написали такое предложение. «Когда мы пообедали, нянька поцаловала еще отца и ушла домой. Потом отец стал перебирать в сумочке, а мы стали с матерью смотреть. Вот мать увидала там книжку и говорит: ай выучился грамоте? Отец говорит: выучился. Потом отец вынул большой узел и подал матери. Мать говорит: что это? Отец говорит: деньги. Мать обрадовалась и заторопилась, понесла их хоронить. Потом мать пришла и говорит: где это ты взял? Отец говорит: я был унтер-офицером, и у меня были казенные деньги; я раздавал солдатам, и у меня остались, я их прибрал. Мать моя так была рада и бегала как бешенная. День уже прошел, наступил вечер. Зажгли огонь. Взял мой отец книжку и начал читать. Я сел около него и слушал, а мать светила лучинку. И долго отец читал книжку. Потом легли спать. Я лег на задней лавке с отцом, а мать у нас легла в ногах, и долго они разговаривали, почти до полуночи. Потом уснули».

Опять чуть заметная, нисколько не поражающая вас, но оставляющая глубокое впечатление подробность о том, как они легли спать: отец лег с сыном, мать легла в ногах, и долго они не могли наговориться. Как тепло прижался, я думаю, сын к груди отца и как чудно и отрадно было ему, засыпая и в просонках, всё слушать эти два голоса, из которых один так давно он не слышал. Казалось бы, всё кончено: отец возвратился, бедности нет уже. Но Федька не удовлетворился этим (слишком живо, видно, засели ему в воображение эти воображаемые люди), ему нужно еще было живо вообразить себе картину изменившегося их житья, представить себе ясно, что теперь ужь эта баба не одинокая, горемычная солдатка с малыши ребятами, а что есть в доме сильный мужчина, который снимет с усталых плеч жены всё бремя навалившегося горя и бедности и самостоятельно, твердо и весело поведет новую жизнь. И для этого он рисует вам только одну сцену: как шарбатым топором здоровый солдат нарубил дров и принес в избу. Вы видите, как востроглазый мальчишка, привыкший к кряхтению слабосильной матери и бабушки, с удивлением, уважением и гордостью любовался на мускулистые засученные руки отца, на энергические взмахи топора, совпадавшие с грудным вздохом мужского труда, и на плаху, которая, как лучина, щепалась под шарбатым топором. Вы посмотрели на это и совершенно успокаиваетесь насчет будущего житья солдатки. Теперь она ужь не пропадет, сердечная, думаю я.

«Поутру мать встала, подошла к отцу и говорит: Гордей! вставай,

нужно дров, топить печь. Батя поднялся, обулся, надел шапку и говорит: топор есть? Мать говорит: есть шарбатый, – пожалуй, и не отрубит. Отец мой взял топор обеими руками крепко, подошел к плахе, поставил ее стоячи и ударил изо всех сил и расколол плаху; наколол дров и перетаскал в избу. Мать стала топить избу, истопила, и хорошо рассвело».

Но художнику и этого мало. Ему хочется показать вам и другую сторону их жизни, поэзию веселой семейной жизни, и он рисует вам следующую картину:

«Когда хорошо рассвело, отец мой говорит: Матрена! Мать подошла и говорит: ну, что? Отец говорит: я думаю корову купить, пять овченок, две лошади да избу, – ведь развалилась... ну, изойдет целковых полтора на всё-то. Мать что-то задумалась, потом говорит: ну, а деньги-то мы все растрясем. Отец говорит: мы работать станем. Мать говорит: ну, ладно, купим, да вот что – где иструб-то взять? Отец говорит: у Кирюхи разве нет? Мать говорит: то-то и дело, что нет – Фоканычевы захватили. Отец подумал и говорит: ну, мы возьмем у Брянцева. Мать говорит: и у него навряд ли есть. Отец говорит: ну, как не быть – человек засечный. Мать говорит: как бы он не взял дорого; посмотри, какой он бестия. Отец говорит: я пойду, поднесу водочки и уговорюсь с ним; а ты испеки яичко в золе к обеду. Мать к обеду там кусочек сварила, заняла у своих. Потом отец взял вина и ушел к Брянцеву, а мы остались и долго сидели. Мне стало скучно без отца. Я стал проситься у матери, чтоб она отпустила меня туда, куда отец ушел. Мать говорит: ты заблудишься. Я стал плакать и хотел уйти, но меня мать побила, и я сел на печку и стал дужей плакать. Потом, вижу, вошел отец в избу и говорит: что ты плачешь? Мать говорит: Федюшка хотел за тобой бечь, а я его побила. Отец подошел ко мне и говорит: о чем ты плачешь? Я стал жаловаться на мать. Отец подошел к матери и зачал ее бить, так, нарочно, а сам приговаривает: не бей Федю! не бей Федю! Мать нарочно заплакала. А я сел отцу на колени и был рад. Потом отец сел за стол, посадил меня рядом с собой и закрывал: давай нам, мать, с Федею обедать, – мы есть хотим! Вот мать подала нам говядины, и мы стали есть. Пообедали, мать говорит: ну, что насчет иструба? Отец говорит: 50 руб. сер. Мать говорит: это еще ничего. Отец говорит: да, толковать нечего – иструб славный».

Кажется, как просто, как мало сказано, а вам представляется перспектива всей их семейной жизни. Вы видите, что мальчик еще ребенок, который и поплачет, и через минуту будет рад; вы видите, что мальчик не умеет ценить любви матери и променял ее на мужественного отца, рубившего плаху; вы видите, что мать знает, что это так должно быть, и не ревнует; вы видите этого чудесного Гордея, у которого счастье переполняет сердце. Вами замечено, что они ели говядину, и эта прелестная комедия, которую они все играют, и все знают, что это комедия, но играют от избытка счастья. «Не бей Федю, не бей Федю», говорит отец, замахиваясь на нее. И привычная к непритворным слезам, мать нарочно заплакала, счастливо улыбаясь на отца и на сына, и этот мальчик, который взлез к отцу на колени, был горд и рад, сам не зная чему, – горд и рад, может быть, тому, что они теперь счастливы.

«Потом отец сел за стол, посадил меня рядом с собой и закричал: давай нам, мать, с Федею обедать, – мы есть хотим».

Мы есть хотим, и рядом посадил. Какая любовь и счастливая гордость любви дышет в этих словах! Прелестнее, задушевнее этой последней сцены нет ничего во всей прелестной повести.

Но что же мы хотим сказать всем этим? Какое значение имеет эта повесть в педагогическом отношении, написанная одним, может быть, исключительным мальчиком? Нам скажут: «вы, учитель, может быть, помогли, незаметно для себя, составлению этих и других повестей, и найти границы того, что принадлежит вам, и того, что самобытно, слишком трудно». Нам скажут: «положим, повесть хороша, но это один только из родов литературы». Нам скажут: «Федька и другие мальчики, сочинения которых вы печатали, суть счастливое исключение». Нам скажут: «вы сами писатель, вы незаметно для себя помогли ученикам такими путями, которые нельзя предписывать другим учителям – не-писателям, как правило». Нам скажут: «из всего этого вывести общего правила или теории невозможно. Отчасти интересное явление и больше ничего».

Постараюсь передать мои выводы так, чтобы они отвечали на все эти, предполагаемые мною, возражения.

Чувства правды, красоты и добра независимы от степени развития. Красота, правда и добро суть понятия, выражающие только гармонию отношений в смысле правды, красоты и добра. Ложь есть только несоответственность отношений в смысле истины; абсолютной же правды нет. Я не лгу, говоря, что столы вертятся от прикосновения пальцев, ежели я верю, хотя это и неправда; но я лгу, говоря, что у меня нет денег, когда, по моим понятиям, у меня есть деньги. Никакой огромный нос не уродлив, но он уродлив на малом лице. Уродливость только дисгармония в отношении красоты. Отдать свой обед нищему или самому съесть его не имеет в себе ничего дурного; но отдать или съесть этот обед, когда моя мать умирает с голоду, – есть дисгармония отношений в смысле добра. Воспитывая, образовывая, развивая, или как хотите действуя на ребенка, мы должны иметь и имеем бессознательно одну цель: достигнуть наибольшей гармонии в смысле правды, красоты и добра. Ежели бы время не шло, ежели бы ребенок не жил всеми своими сторонами, мы бы спокойно могли достигнуть этой гармонии, добавляя там, где нам кажется недостаточным, и убавляя там, где нам кажется лишним. Но ребенок живет, каждая сторона его существа стремится к развитию, перегоняя одна другую, и большей частью самое движение вперед этих сторон его существа мы принимаем за цель и содействуем только развитию, а не гармонии развития. В этом заключается вечная ошибка всех педагогических теорий. Мы видим свой идеал впереди, когда он стоит сзади нас. Необходимое развитие человека есть не только не средство для достижения того идеала гармонии, который мы носим в себе, но есть препятствие, положенное Творцом, к достижению высшего идеала гармонии. В этом-то необходимом законе движения вперед заключается смысл того плода дерева познания добра и зла, которого вкусил наш прародитель. Здоровый ребенок рождается на свет, вполне удовлетворяя тем требованиям безусловной гармонии в отношении правды, красоты и добра, которые мы носим в себе; он близок к

неодушевленным существам – к растению, к животному, к природе, которая постоянно представляет для нас ту правду, красоту и добро, которых мы ищем и желаем. Во всех веках и у всех людей ребенок представлялся образцом невинности, безгрешности, добра, правды и красоты. Человек рождается совершенным, – есть великое слово, сказанное Руссо, и слово это, как камень, останется твердым и истинным. Родившись, человек представляет собой первообраз гармонии, правды, красоты и добра. Но каждый час в жизни, каждая минута времени увеличивают пространства, количества и время тех отношений, которые, во время его рождения находились в совершенной гармонии, и каждый шаг и каждый час грозит нарушением этой гармонии, и каждый последующий шаг, и каждый последующий час грозит новым нарушением и не дает надежды восстановления нарушенной гармонии.

Большей частью воспитатели выпускают из виду, что детский возраст есть первообраз гармонии, и развитие ребенка, которое независимо идет по неизменным законам, принимают за цель. Развитие ошибочно принимается за цель потому, что с воспитателями случается то, что бывает с плохими ваятелями.

Вместо того, чтобы стараться остановить местное преувеличенное развитие или остановить общее развитие, чтобы подождать новой случайности, которая уничтожит происшедшую неправильность, как плохой скульптор, вместо того, чтобы соскоблить лишнее, налепливает всё больше и больше, – так и воспитатели как будто об одном только стараются, как бы не прекратился процесс развития, и если думают о гармонии, то всегда стараются достигнуть ее, приближаясь к неизвестному для нас первообразу в будущем, удаляясь от первообраза в настоящем и прошедшем. Как бы ни неправильно было развитие ребенка, всегда еще остаются в нем первобытные черты гармонии. Еще умеряя, по крайней мере, не содействуя развитию, можно надеяться получить хоть некоторое приближение к правильности и гармонии. Но мы так уверены в себе, так мечтательно преданы ложному идеалу взрослого совершенства, так нетерпеливы мы к близким нам неправильностям и так твердо уверены в своей силе исправить их, так мало умеем понимать и ценить первобытную красоту ребенка, что мы скорей, как можно скорей, раздуваем, залепляем кидающиеся нам в глаза неправильности, исправляем, воспитываем ребенка. То одну сторону надо сравнить с другой, то другую надо сравнить с первой. Ребенка развивают всё дальше и дальше, и всё дальше и дальше удаляются от бывшего и уничтоженного первообраза, и всё невозможнее и невозможнее делается достижение воображаемого первообраза совершенства взрослого человека. Идеал наш сзади, а не впереди. Воспитание портит, а не исправляет людей. Чем больше испорчен ребенок, тем меньше нужно его воспитывать, тем больше нужно ему свободы.

Учить и воспитывать ребенка нельзя и бессмысленно по той простой причине, что ребенок стоит ближе меня, ближе каждого взрослого к тому идеалу гармонии, правды, красоты и добра, до которого я, в своей гордости, хочу возвести его. Сознание этого идеала лежит в нем сильнее, чем во мне. Ему от меня нужен только материал для того, чтобы пополняться гармонически и всесторонне. Как только я дал ему полную свободу, перестал учить его, он написал такое поэтическое произведение, которому подобного не было в русской литературе. И

потому, по моему убеждению, нам нельзя учить писать и сочинять, в особенности поэтически сочинять, вообще детей и в особенности крестьянских. Всё, что мы можем сделать, это научить их, как браться за сочинительство.

Ежели то, что я делал для достижения этой цели, можно назвать приемами, то приемы эти были следующие:

- 1) Предлагать самый большой и разнообразный выбор тем, не выдумывая их собственно для детей, но предлагать темы самые серьезные и интересующие самого учителя.
- 2) Давать читать детям детские сочинения и только детские сочинения предлагать за образцы, ибо детские сочинения всегда справедливее, изящнее и нравственнее сочинений взрослых.
- 3) (Особенно важно.) Никогда во время рассматривания детских сочинений не делать ученикам замечаний ни об опрятности тетрадей, ни о каллиграфии, ни об орфографии, ни, главное, о постройке предложений и о логике.
- 4) Так как в сочинительстве трудность заключается не в объеме или содержании, а в художественности темы, то постепенность тем должна заключаться не в объеме, не в содержании, не в языке, а в механизме дела, состоящем в том, чтобы, во-первых, из большого числа представляющихся мыслей и образов выбрать одну; во-вторых, выбрать для нее слова и облечь ее; в-третьих, запомнить ее и отыскать для нее место; в-четвертых, в том, чтобы, помня написанное, не повторяться, ничего не пропускать и уметь соединять последующее с предыдущим; в-пятых, наконец, в том, чтобы в одно время, думая и записывая, одно не мешало другому. С этой целью я делал следующее: некоторые из этих сторон труда я первое время брал на себя, постепенно передавая их все на их заботу. Сначала я выбирал за них из представлявшихся мыслей и образов те, которые казались мне лучше, и запоминал и указывал место и справлялся с написанным, удерживая их от повторений, и сам писал, предоставляя им только облечь образы и мысли в слова; потом я дал им самим и выбирать, потом и справляться с написанным, и наконец, как при писании «Солдаткина житья», они и самый процесс писанья взяли на себя.

НЕОПУБЛИКОВАННОЕ, НЕОТДЕЛАННОЕ И НЕОКОНЧЕННОЕ.

ВАРИАНТЫ СТАТЬИ «КОМУ У КОГО УЧИТЬСЯ ПИСАТЬ, КРЕСТЬЯНСКИМ РЕБЯТАМ У НАС, ИЛИ НАМ У КРЕСТЬЯНСКИХ РЕБЯТ».

Стр. 303, строка 19 сн.

Вместо слов: положительный Семка кончая: поэтических представлений. – в ркп.: положительный Сёмка художественностью описаній и поэтической Федька, ясностью и отчетливостью поэтических представлений.

Стр. 307, строка 10 сн.

Вместо: столь сильное кончая: я испытывал. – в ркп.: такое сильное впечатлѣніе, въ значеніи котораго я долго не могъ дать себѣ отчета.

Стр. 307, строка 1 сн.

Вместо: как радостно кончая: прежде его. – в ркп.: какъ радостно должно было быть сыну, подслушавшему любовь своего отца и матери.

Стр. 308, строка 18 сн.

Вместо: чувство художественной правды, – в ркп.: сознательное признаніе, чувство художественной правды,

Стр. 308, строка 6 сн.

Вместо: все предлагаемые изменения. – в ркп.: всѣ предлагаемая прибавленія и измѣненія

Стр. 310, строка 5 св.

Вместо: В 12 часу я к ним постучался и вошел. – в ркп.: Въ 12 часу я заглянулъ къ нимъ въ щелку.

Стр. 310. строка 3 сн.

После слов: оба варианта, – в ркп.: но для читателя постараюсь поставить ихъ въ первоначальномъ видѣ.

Стр. 310, строка 2 сн.

Вместо: учебного года. – в ркп.: академическаго года.

Стр. 315, строка 5 сн.

Вместо: всякую молодую бабочку, – в ркп.: Ясенскую молодую бабочку,

Стр. 317, строка 19 св.

Вместо: Выражение: «честных убеждений» кончая: а нет честных убеждений. – в ркп.: Выраженіе: честныхъ убѣжденій, по моему, такъ бессмысленно, какъ курительное убѣжденіе.

Стр. 317, строка 3 сн.

Вместо: откуда жь ему было кончая: найти его. – в ркп.: откуда жь ему было взять этого Deas ex machina, – законнѣе, разумнѣе нельзя было найти его.

Стр. 319, строка 8 св.

Вместо: вздохом – в ркп.: духомъ

Стр. 320, строка 16 сн.

После: улыбаясь, – в ркп.: я думаю,

Стр. 321, строка 10 св.

Вместо: независимы от степени развития кончая: правды, красоты и добра. – в ркп.: независимы отъ степени развитія, отъ степени силы. Какъ часто говорятъ, что понятія красоты, правды, добра суть понятія относительныя. Это несправедливо. Красота, правда и добро только понимаются различно, но они не относительны. Безусловныя же красота, правда и добро суть понятія, выражающія только гармонію отношеній въ смыслѣ правды, красоты и добра.

Стр. 321, строка 14 св.

Вместо: Я не лгу, кончая: и неправда; в ркп.: Я не лгу, говоря, что <есть Богъ, Иисусъ Христось, хотя это м[ожетъ] б[ыть] и неправда;

Стр. 322, строка 10 св.

После: твердыми истинным. в ркп.: но Руссо считаетъ совершеннымъ какого то идеальнаго первобытнаго человѣка, выходящаго изъ рукъ природы. Онъ какъ будто догадывается о прежнемъ существованіи этаго человѣка, ищетъ и выдумываетъ его. Человѣкъ этотъ существуетъ: это человѣкъ только что родился.

Стр. 322, строка 17 св.

После: восстановления нарушенной гармонии, в ркп.: Представьте себѣ совершенный, математически вѣрный, живой, своей силой развивающійся шаръ. Всѣ части этаго шара растутъ своею, соразмѣрной другимъ частямъ силой. Шаръ этотъ есть образецъ совершенства, но онъ долженъ вырасти до положеннаго ему предѣла величины, среди безчисленнаго количества такихъ же свободно растущихъ шаровъ. Столкновенія этихъ шаровъ уничтожаютъ ихъ первобытный видъ. Они достигаютъ величины, но не достигаютъ

[1] правильности. Задача въ томъ, чтобы довести шары до ихъ

величины, сохранивши ихъ первобытную форму. Ростъ ихъ зависитъ не отъ насъ, — это неизмѣнный законъ, — ростъ не можетъ прибавить имъ правильности. Въ нашей власти, какъ будто, находится только поддержаніе ихъ формы. Нарушаетъ первобытную форму только насиліе. Воспитаніе состоитъ только въ томъ, чтобы не нажимать насильно на этотъ развивающійся шаръ другими, болѣе развитыми шарами, не лишать этого шара тѣхъ треній и столкновеній, которыя неизмѣнный законъ установилъ для развитія всей совокупности шаровъ. Большею же частью съ воспитаніемъ случается слѣдующее: выпускается изъ виду, что первобытный шаръ есть первообразъ <праведности> правильности, и что развитіе и увеличеніе шара, которое независимо идетъ по неизмѣннымъ законамъ, принимается за цѣль, когда цѣль должна бы была быть только праведная или иначе гармонія. Съ другой стороны, увеличеніе шара, т. е. развитіе, ошибочно принимается за цѣль еще и потому, что съ воспитателями случается то, что бываетъ съ плохими ваятелями или съ плохими медиками. Вслѣдствіе несчастнаго столкновенія или отсутствія необходимости столкновенія, шаръ получаетъ или вдавленность или преувеличенное развитіе какой-либо части. вмѣсто того, чтобы стараться остановить мѣстное преувеличенное развитіе или остановить общее развитіе съ тѣмъ, чтобы вдавленное мѣсто выровнялось со всею поверхностью, вмѣсто того (самый обыкновенный человѣкъ) чтобы подождать новой кажущейся намъ случайности, которая уничтожитъ происшедшую неправильность, вмѣсто того чтобы подождать вызванное и всегда слѣдующее за сжатіемъ расширеніе вслѣдствіе внутренней силы, какъ плохой медикъ, старающійся посредствомъ желѣза прибавить пациенту крови, когда процессъ питанія убавляется, — или какъ плохой скульпторъ, вмѣсто того чтобы соскоблить лишнее налѣпливаетъ все больше и больше, — такъ и воспитатели какъ будто объ одномъ только стараются, какъ бы не прекратить процессъ развитія и ежели думаютъ о гармоніи, то всегда стараются достигнуть ее, приближаясь къ неизвѣстному для насъ первообразу большаго шара и удаляясь отъ первообраза малаго шара ребенка, который одинъ только данъ намъ и къ которому одному мы должны стремиться. Какъ бы ни неправильно было развитіе ребенка, всегда еще остаются въ немъ первобытныя черты вѣчной гармоніи, какъ бы ни разбивали маленькій шаръ, — еще видны на немъ кое-гдѣ тѣ безконечно правильныя линіи, которыя составляютъ нашъ идеаль. Еще уменьшая, по крайней мѣрѣ не содѣйствуя развитію, можно надѣяться получить хоть нѣкоторое приближеніе къ правильности гармоніи.

Но мы такъ увѣрены въ себѣ, такъ мечтательно преданы ложному идеалу большаго шара взрослого совершенства, такъ нетерпѣливы мы къ близкимъ намъ неправильностямъ, и такъ твердо увѣрены въ своей силѣ исправить ихъ, такъ мало умѣемъ понимать и цѣнить первобытную красоту ребенка и тѣ оставшіяся первобытныя линіи малаго шара, что мы скорѣе, какъ можно скорѣе раздуваемъ, залѣпляемъ кажущійся намъ въ глаза неправильностью шаръ, — исправляемъ, воспитываемъ ребенка; вмѣсто того, что намъ не нравится, вмѣсто съ неправильностями залѣпляемъ и остатки первобытной красоты и гармоніи, увеличивая и другую остававшуюся цѣльную сторону шара. Шаръ растеть все больше и

больше. То одну сторону надо сравнять съ другой, то другую надо сравнять съ одной. Шаръ залѣпляють больше и больше, – ребенка развиваютъ все дальше и дальше. И все дальше и дальше удаляются отъ бывшаго и уничтоженнаго первообраза и все невозможнѣе и невозможнѣе дѣлается достиженіе воображаемаго первообраза большаго шара – взрослога человѣка. Идеаль нашъ сзади, а не впереди. Только поменьше усердія, повторяю я, воспитаніе портить, а не исправляетъ людей.

Стр. 323, строка 11 св.

После слов: тем меньше нужно его воспитывать, в ркп.: И со сколькихъ различныхъ сторонъ нападаль я на это явленіе и ученіе, – и игры, и математика, и естественныя науки, и языки, и теперь искусство, ясно и неотразимо приводятъ къ одному и тому-же заключенію.

Стр. 323, строка 17 св.

После слов: гармонически и всесторонне. в ркп.: И я не имѣю права отказывать ему. Я даль, наприм., Федькѣ этотъ матеріаль въ искусствѣ писать, укладывать и обдумывать свою мысль. И изъ этаго матеріала онъ сдѣлалъ – солдаткину жизнь. Федька былъ не одинъ. Почти всѣ мальчики проходили черезъ тѣ же пути, по которымъ шоль несомнѣнно даровитѣйшій всѣхъ Федька, и всѣ писали сочиненія такія, какихъ я нигдѣ не видалъ, кромѣ Ясной поляны.

—

Комментарии В. Ф. Саводника

[2]

КОМУ У КОГО УЧИТЬСЯ ПИСАТЬ, КРЕСТЬЯНСКИМ РЕБЯТАМ У НАС, ИЛИ НАМ У КРЕСТЬЯНСКИХ РЕБЯТ?

Писание школьных сочинений было одним из излюбленных педагогических приемов, применявшихся Толстым в Ясно-полянкой школе и вызывавших среди учеников большой интерес. В «Дневнике Ясно-полянкой школы» мы находим целый ряд записей, относящихся к этим занятиям. Большая часть записей принадлежит учителю П. В. Морозову; таковы записи: 26 февраля: «Все писали сочинения; темы для этих сочинений выбрали

сами произвольно». 27 февраля: «Приказано графом разнообразить писание: день из св. истории, другой разные сочинения, выдуманные ими самими». 28 февраля: «Младшие ученики писали сочинения. Все почти писали о маслянице». 2 марта: «Переписывали свои сочинения: Румянцев о дедушке, Фоканов о свадьбе, Жданов о прогулке с товарищами». 9 марта: «Читали сочинения». 12 марта: «Продолжали писать сочинения. Некоторые начали новые темы». Сам Толстой внес следующие записи: 28 февраля: «Писали сочиненья – всё о театре. Васька – о том, что бы он сделал, коли бы попался в плен... Кирюшка ни на шаг не уступал Успенскому, – в Андр. несчастном». 6 марта : «Читали все сочиненья. Дунька, Чернов и Фоканов очень хороши сочиненья». [3]

Метод писания сочинений охотно применяли и другие учителя–студенты, собиравшиеся по воскресеньям в Ясную поляну для обсуждения общих вопросов школьного дела. Об этих ученических сочинениях неоднократно писали некоторые из этих учителей в своих отчетных статьях в «Ясной поляне»; напр., Эрленвейн в статьях о Бабуриной школе (февраль, стр. 85; апрель, стр. 28; октябрь, стр. 17); Томашевский в статьях о Колпинской и Пироговской школах (март, стр. 88; декабрь, стр. 43), Сердобольский в статье о Головеньковской школе (май, стр. 50), Гудима в статье о Богучаровской школе (июнь, стр. 28) и Орлов в статье о Телятинской школе (октябрь, стр. 45).

[4]

В конце 1-й статьи «Ясно–полянская школа за ноябрь и декабрь месяцы» Толстой касается между прочим и ученических сочинений, причем приводит несколько характерных образцов этих сочинений.

[5] Но этот вопрос настолько заинтересовал его, не только с педагогической, но и с художественной и психологической стороны, что он вскоре вновь вернулся к нему и широко развил его в отдельной статье, которую он сам озаглавил: «Кому у кого учиться писать, крестьянским ребятам у нас, или нам у крестьянских ребят?»

Время написания этой статьи точно определить трудно, так как нет соответствующих указаний, и мы можем датировать ее только приблизительно. Вероятно, Толстой начал работать над этой статьей только после окончания своей предыдущей большой статьи : «Об общественной деятельности на поприще народного образования», напечатанной в августовской книжке «Ясной поляны», с цензурной пометой от 20 сентября. В это время Толстой переживал чрезвычайно острый момент в своей личной жизни, закончившийся его женитьбой на

С. А. Берс (23 сентября 1862 г.). Эти переживания, конечно, не могли не отразиться на его работе, не могли не задержать ее. Толстой сам свидетельствует об этом в записи Дневника от 20 октября, т. е. уже после женитьбы и переезда в Ясную поляну: «Работать не могу».

[6] Поэтому мы можем предположить, что Толстой приступил к работе над своей новой статьей только после вышеприведенной дневниковой записи, т. е. в начале или даже в середине октября 1862 г.; а закончена была эта работа в конце этого же месяца, так как уже 5 ноября статья Толстого была уже одобрена к печати московской цензурой. [7]

В АТБ хранится рукопись (Папка XIV), с которой производился набор статьи «Кому у кого учиться писать», и которая включает в себе полный текст ее, с некоторыми изменениями и дополнениями, не вошедшими в печатный текст журнала. Рукопись занимает 26 листов писчей бумаги, F°; бумага белая, довольно плотная, Троицкой, Говарда и Сергиевской фабрик. Текст писан по обеим сторонам листа. Пагинация по листам, с правой стороны. Заглавия нет. Небольшие поля с правой стороны, кроме первой страницы, писанной без полей. Начало статьи – автограф Толстого, занимающий 3/4 страницы, – от слов: «В 4-й книжкѣ «Ясной Поляны»... конец: «мнѣ всегда представляется...» Продолжение текста, обрывающееся посередине фразы: «<всегда представляется> ряд не только повестей...», писано рукою того же лица, которому принадлежит большая часть рукописи «Об общественной деятельности», хранящейся в ГТМ (см. стр. 566): возможно, что продолжение текста писано непосредственно под диктовку Толстого. Текст оканчивается на л. 26; оборот – пустой. Как в автографе, так и в тексте, писанном рукою другого лица, встречаются авторские поправки и вставки, впрочем незначительные.

Статья напечатана впервые в сентябрьской книжке журнала «Ясная поляна», стр. 31–57.

В настоящем издании статья «Кому у кого учиться писать...» печатается по тексту «Ясной поляны», со следующими исправлениями, взятыми из рукописи и восстанавливающими произвольные поправки и пропуски Попова:

Стр. 301, строка 37: после слов: Не понимали искусства в рук. Поповым карандашом зачеркнуто: – красоты.

Стр. 302, строка 3: после: Надо заметить в рукописи зачеркнуто: еще

Стр. 303, строка 5: вместо: влез в ркп. поправка Попова (карандашом): взлез

Стр. 308, строка 19: после: На другой день в рукописи зачеркнуто: вечером

Стр. 314, строка 5: вместо: 7-летняго в рукописи неудачная поправка Попова: 11-летняго явно нарушающая смысл контекста.

Стр. 315, строка 24: вместо: что-й то у вас семьи только? в рукописи стилистическая поправка Попова: что и у вас семьи-то только?

Рассказ «Ложкой кормит, а стеблем глаз колет» напечатан в апрельской книжке «Ясной поляны» (стр. 5–38), без имени автора. Рассказ «Солдат-кино житье» напечатан в сентябрьской «Книжке Ясной поляны» (стр. 5–25), за подписью: Василий Морозов («Федька»).

ПРИМЕЧАНИЕ.

Стр. 319, строка 32: «Человек засечный» – то есть живущий близ «Засеки». Засеками назывались в Калужской, Тульской, Рязанской и Тамбовской губерниях отдельные участки казенных лесов, уцелевших от сплошной оборонительной линии, устроенной Московским правительством в XVI–XVII стол. для защиты своих владений от набегов крымских и ногайских татар. Для этой цели правительство запретило в пограничной полосе вырубать леса, служившие естественной преградой для татарской конницы. По середине лесной полосы были прокопаны рвы, по сторонам которых лес был «засечен», т. е. деревья подрублены таким образом, чтобы препятствовать движению конницы. Только в некоторых местах были оставлены укрепленные ворота, служившие для прохода и проезда жителей, и охраняемые военной стражей. Такие ворота были устроены и у Козловой засеки в 4 верстах от Ясной поляны.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ВОСЬМОМУ ТОМУ.

В настоящий том входят произведения 1860–1863 гг., относящиеся к педагогической деятельности Толстого и, главным образом, к журналу «Ясная поляна».

В основную часть тома внесены все статьи, напечатанные Толстым в «Ясной поляне», как подписанные им самим, так и не подписанные, но несомненно принадлежащие его перу. Сюда же включены и различные заметки, заявления и объяснения, как подписанные Толстым от имени редакции, так и не подписанные, но несомненно ему принадлежащие. Все эти редакционные примечания и объяснения печатаются вместе и в порядке их появления.

Текст настоящего издания печатается по журнальному тексту «Ясной поляны», как наиболее авторитетному, так как при печатании он был

просмотрен и санкционирован автором. При этом редакторами настоящего издания было обращено особое внимание на установление подлинного текста Толстого, и на основании рукописных материалов (автографов и копий) были устранены различные отмены и искажения, произвольно внесенные в печатный текст лицами, которым Толстой поручал печатание своих статей. Вместе с тем в текст настоящего издания были внесены, как отдельные выражения, так и целые связные отрывки, которые были исключены из текста «Ясной поляны» по цензурным условиям того времени.

В приложении к основной части тома даны некоторые материалы, непосредственно относящиеся к изданию журнала «Ясная поляна»: официальное прошение Толстого к министру народного просвещения Ковалевскому о разрешении издания журнала (20 апреля 1861 г.) с приложением его программы, объявление об издании нового педагогического журнала, опубликованное в «Современной летописи» журнала «Русский вестник» (2 августа 1861 г.) и заявление Толстого о прекращении им издания «Ясной поляны», напечатанное в газете «Московские ведомости» 17 января 1863 г.

Во втором отделе тома, на основании рукописного материала, впервые напечатаны следующие отрывки и заметки Толстого относящиеся к педагогическим вопросам: «Педагогические заметки и материалы», «О задачах педагогики», «Проект устава учебных заведений», «Сельской учитель», «Заметки об английских учебных книгах», «Письмо к неизвестному», «Вступление», «О значении народного образования», «По поводу передовой статьи «Ясной поляны»», «Ответ критикам», «О языке народных книжек», «О прогрессе и образовании». Сюда же включены и более значительные рукописные варианты, относящиеся к некоторым статьям «Ясной поляны».

В состав этого отдела включен и «Дневник Ясно-полянской школы», в который Толстой внес много различных записей. Хотя в этом «Дневнике» принимали участие и другие учителя и даже некоторые из старших воспитанников, однако, мы сочли необходимым внести в настоящее издание все эти поденные записи разных лиц целиком, в качестве наглядного документа, живо рисующего характер школьной работы, как самого Толстого, так и его сотрудников. Отметим только, что все эти записи Толстого печатаются корпусом, записи же других учителей и школьников – петитом.

Редактирование всего тома, за исключением статьи «Прогресс и определение образования» и некоторых мелких отрывков, было поручено Редакторским комитетом Н. М. Мендельсону; но последовавшая 16 февраля 1934 г. кончина Николая Михайловича помешала ему закончить всю работу по данному тому. Им была произведена подготовка текста всех статей, входящих в «Ясную поляну», и комментариев к ней, за исключением статьи: «Кому у кого учиться писать». Из незаконченных же и неопубликованных статей Мендельсоном был подготовлен к печати текст большей части заметок и набросков Толстого, но прокомментирован лишь отрывок «О значении народного образования». Текст статей: «Заметки об английских учебных книгах», «Письмо к неизвестному», «О прогрессе и образовании» и комментарии ко всему неопубликованному материалу, за исключением указанной выше заметки

«О значении народного образования», уже после смерти Н. М. Мендельсона, были подготовлены к печати В. Ф. Саводником. Кроме того, им же были внесены, согласно указаниям Редакторского комитета, некоторые дополнения и изменения во вступительной статье, посвященной педагогической и журнальной деятельности Толстого, и в комментариях к статьям «Ясной поляны». Ему же было поручено и составление указателя ко всему тому.

В. Ф. Саводник.

РЕДАКЦИОННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ К ВОСЬМОМУ ТОМУ.

Тексты произведений, печатавшихся при жизни Л. Толстого, печатаются по новой орфографии, но с воспроизведением больших букв во всех, без каких-либо исключений, случаях, когда в воспроизводимом тексте Толстого стоит большая буква, и начертаний до-гrotовской орфографии в тех случаях, когда эти начертания отражают произношение Л. Толстого и лиц его круга («брычка», «цаловать»).

При воспроизведении текстов, не печатавшихся при жизни Толстого (произведения, окончательно не отделанные, не оконченные, только начатые и черновые тексты), соблюдаются следующие правила:

Текст воспроизводится с соблюдением всех особенностей правописания, которое не унифицируется, т. е. в случаях различного написания одного и того же слова все эти различия воспроизводятся («этаго» и «этого», «тетенька», «тетинька»).

Слова, не написанные явно по рассеянности, вводятся в прямых скобках, без всякой оговорки.

В местоимении «что» над «о» ставится знак ударения в тех случаях, когда без этого было бы затруднено понимание. Это «ударение» не оговаривается в сноске.

Ударения (в «что» и других словах), поставленные самим Толстым, воспроизводятся, и это оговаривается в сноске.

На месте слов неудобных в печати ставится в двойных прямых скобках цифра, обозначающая число пропущенных редактором слов: [[1]].

Неполно написанные конечные буквы (как, напр., крючок вниз вместо конечного «ъ» или конечных букв «ся» и «тсЯ» в глагольных формах) воспроизводятся полностью без каких-либо обозначений и оговорок.

Условные сокращения (т. н. «аббревиатуры») типа «к-ый», вместо «который», и слова, написанные неполностью, воспроизводятся полностью, причем дополняемые буквы ставятся в прямых скобках: «к[отор]ый», «т[акъ] к[акъ] и т. п. лишь в тех случаях, когда

редактор сомневается в чтении.

Слитное написание слов, объясняемое лишь тем, что слова, в процессе беглого письма, для экономии времени писались без отрыва пера от бумаги, не воспроизводится.

Описки (пропуски букв, перестановки букв, замены одной буквы другой) не воспроизводятся и не оговариваются в сносках, кроме тех случаев, когда редактор сомневается, является ли данное написание опиской.

Слова, написанные явно по рассеянности дважды, воспроизводятся один раз, но это оговаривается в сноске.

После слов, в чтении которых редактор сомневается, ставится знак вопроса в прямых скобках: [?]

На месте не поддающихся прочтению слов ставится: [1 неразобр.] или: [2 неразобр.] и т. д., где цифры обозначают количество неразобранных слов.

Из зачеркнутого в рукописи воспроизводится (в сноске) лишь то, что редактор признает важным в том или другом отношении.

Незачеркнутое явно по рассеянности (или зачеркнутое сухим пером) рассматривается как зачеркнутое и не оговаривается.

Более или менее значительные по размерам места (абзац или несколько абзацев, глава или главы), перечеркнутые одной чертой или двумя чертами крест-на-крест и т. п., воспроизводятся не в сноске, а в самом тексте, и ставятся в ломаных < > скобках; но в отдельных случаях допускается воспроизведение в ломаных скобках в тексте, а не в сноске, одного или нескольких зачеркнутых слов.

Написанное Толстым в скобках воспроизводится в круглых скобках. Подчеркнутое печатается курсивом, дважды подчеркнутое – курсивом с оговоркой в сноске.

В отношении пунктуации: 1) воспроизводятся все точки, знаки восклицательные и вопросительные, тире, двоеточия и многоточия (кроме случаев явно ошибочного употребления);

2) из запятых воспроизводятся лишь поставленные согласно с общепринятой пунктуацией; 3) ставятся все знаки в тех местах, где они отсутствуют с точки зрения общепринятой пунктуации, причем отсутствующие тире, двоеточия, кавычки и точки ставятся в самых редких случаях.

При воспроизведении «многоточий» Толстого ставится столько же точек, сколько стоит у Толстого.

Воспроизводятся все абзацы. Делаются отсутствующие в диалогах абзацы без оговорки в сноске, а в других, самых редких случаях – с оговоркой в сноске: «Абзац редактора».

Примечания и переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие Толстому и печатаемые в сносках (внизу страницы), печатаются (петитом) без скобок.

Переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие редактору, печатаются в прямых [] скобках.

Пометы: *, **, ***, ****, в оглавлении томов означают: * – что печатается впервые, ** – что напечатано после смерти Л. Толстого, *** – что не вошло ни в одно из собраний сочинений Толстого и **** – что печаталось со значительными сокращениями и искажениями текста.

Иллюстрации

Фототипия с фотографии: Толстой в 1860 г. I. Gêruzet Bruxelles. – между IV и V стр. стр.

Примечания

1

Зачеркнуто: праведности.

2

В комментариях приняты следующие сокращения:

АТБ – Архив Л. Н. Толстого в Всесоюзной Библиотеке имени В. И. Ленина (Москва).

АЧ – Архив В. Г. Черткова (Москва).

Б, I; Б, II – П. И. Бирюков, «Биография Льва Николаевича Толстого» т. I, Гиз. М. 1923; т. II, Гиз. М. 1923.

БЛ – Всесоюзная Библиотека имени В. И. Ленина (Москва).

ГТМ – Государственный Толстовский музей (Москва).

ИРЛИ – Институт новой русской литературы (б. Пушкинский дом, б. Ленинградский Толстовский музей, б. Рукописное отделение Библиотеки Академии наук СССР (Ленинград).

ЛПБ – Рукописное отделение Государственной Публичной Библиотеки РСФСР имени М. Е. Салтыкова–Щедрина (Ленинград).

ПС – «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», изд. Общество Толстовского музея. Спб. 1914.

ПТ – «Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой», изд. Общество Толстовского музея. СПб 1911.

ПТС, I; ПТС, II – «Письма Л. Н. Толстого, собранные и редактированные П. А. Сергеенко», изд. «Книга». I–1910; II–1911.

ТЕ – «Толстовский Ежегодник».

3

См. выше, стр. 457–478.

4

См. указ. номера журнала «Ясная поляна»

5

См. выше, стр. 73–75.

6

Печатаем по подлиннику, хранящемуся в АТБ.

7

«Ясная поляна», сентябрь, стр. 4.